

---

## ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА (КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ)

---

Научная статья

УДК 008

DOI: 10.20323/2499-9679-2024-2-37-236

EDN: QWLUSM

### Пушкинское начало в актуальном культурологическом дискурсе

**Татьяна Семеновна Злотникова**

Доктор искусствоведения, Заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры культурологии, Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1

cij\_yar@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3481-0127>

**Аннотация.** В статье обобщаются результаты многолетних исследований автора в отношении личности и творчества А. С. Пушкина. Актуализуются представления о Пушкине как образном воплощении ребенка, независимо от его реального физического возраста (детскость, интуитивность, непредсказуемость). Внимание уделяется чувству и состоянию одиночества. Актуализируются представления об абсурдности бытия и о своеобразии отношений с женщинами (Пушкин и женщины, женщины как интерпретаторы личности Пушкина, женские образы у Пушкина). Используется творческий опыт М. Цветаевой как интерпретатора личности Пушкина. Специально анализируется эмигрантская версия жизни Пушкина; показано, что для эмигрантов Пушкин был несомненной и прекрасной частью России, поэтому они «нагрузили» личность ушедшего гения собственными комплексами и настроениями, выстроив совершенно особый, поистине абсурдный логический ряд. В частности, в эмигрантском видении Пушкина рядом с мыслью о невозпроизводимости совершенства, присущего гению, до абсурда доведены попытки «докончить» не только тексты, но жизнь самого гения. С учетом актуальных социокультурных представлений концептуализируются представления о городе Санкт-Петербурге как мифологизированном образе и среде обитания. На основе мемуарных материалов (Пушкин и женщины), суждений философов (В. Розанов, П. Флоренский), литераторов, филологов и культурологов (А. Григорьев, Д. Мережковский, Ю. Тынянов, Ю. Лотман, М. Каган, И. Кондаков) обобщаются парадоксы бытийных и художественных проявлений Пушкина. Обосновывается значимость пушкинского начала для современной культуры, что основывается на актуальном культурологическом дискурсе.

**Ключевые слова:** А. С. Пушкин; парадоксы; детскость; абсурд; женщины; русская эмиграция; город Санкт-Петербург; культурологический дискурс

**Для цитирования:** Злотникова Т. С. Пушкинское начало в актуальном культурологическом дискурсе // Верхневолжский филологический вестник. 2024. № 2 (37). С. 236–244. <http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2024-2-37-236>. <https://elibrary.ru/QWLUSM>

---

## THEORY AND HISTORY OF CULTURE AND THE ARTS (CULTUROLOGY, ART HISTORY)

---

Original article

### Pushkin's influence on the contemporary culturological discourse

**Tatiana S. Zlotnikova**

Doctor of art history, Honored scientist of the Russian Federation, professor, department of cultural studies, Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky. 150000, Yaroslavl, Respublikanskaya st., 108/1

cij\_yar@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3481-0127>

**Abstract.** The article summarizes the results of the author's long-term research concerning A. S. Pushkin's personality and creative work and actualizes the ideas about Pushkin as a figurative embodiment of a child, regardless of his real physical age (childishness, intuitiveness, unpredictability). The author pays attention to the feeling and the state of loneliness; the ideas about the absurdity of existence and specific relations with women are actualized (Pushkin and women, women as interpreters of Pushkin's personality, Pushkin's female characters). M. Tsvetaeva's creative experience as an interpreter of Pushkin's personality is used in the article. The author specially analyzes the emigrant version of Pushkin's life, which shows that for emigrants Pushkin was an inseparable and beautiful part of Russia, so they «loaded» the personality of the deceased genius with their own complexes and attitudes, constructing a very special, truly absurd logic. In particular, in the emigrant view of Pushkin, along with the idea that the perfection inherent in genius is irreproducible, there were some absurd attempts to «finish» not only the texts, but also the life of the genius himself. Taking into account the current sociocultural ideas, the city of St. Petersburg is conceptualized as a mythologized image and environment. On the basis of the memoirs (Pushkin and women), the opinions of philosophers (V. Rozanov, P. Florensky), writers, philologists and culturologists (A. Grigoriev, D. Merezhkovsky, Y. Tynyanov, Y. Lotman, M. Kagan, I. Kondakov), the paradoxes of Pushkin's existential and artistic manifestations are generalized. The author substantiates the significance of Pushkin's influence on contemporary culture, which is based on the current culturological discourse.

**Key words:** A. S. Pushkin; paradoxes; childishness; absurdity; women; russian emigration; the city of St. Petersburg; cultural discourse

**For citation:** Zlotnikova T. S. Pushkin's influence on the contemporary culturological discourse. *Verhnevolzhski philological bulletin*. 2024;(2):236–244. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2024-2-37-236>. <https://elibrary.ru/QWLUSM>

## Введение

Время присутствия А. С. Пушкина в русской культуре позволяет говорить о пограничности ипостасей этого человека: «обыденная личность – творец – персонаж». Такую актуализацию мы полагаем возможным осуществить на основе разработки проблем и метафор пушкинского мировидения, где нашла свое место «бездна» в экзистенциальном, культурфилософском и антропологическом аспектах, с учетом традиций «русского абсурда».

Метафора великой (во всех смыслах) поклонницы А. С. Пушкина, М. И. Цветаевой: «Пушкин – тога, Пушкин – схема, Пушкин – мера, Пушкин – грань» – обозначила не только многообразие эстетических и нравственно-психологических функций поэта в национальном самосознании, но и главный модус, объединяющий все эти функции, – модус пограничности, ибо не стоит доказывать, стоит только указать, что в русской культуре были творцы-«нарративы» (В. Жуковский, И. Гончаров, П. Чайковский, И. Репин) и творцы-«границы» (начиная с А. Пушкина и продолжая М. Мусоргским, В. Перовым, И. Стравинским, В. Мейрхольдом). Не вдаваясь в детализацию такого рода «раз-граничения», остановимся на первом, определяющем из людей-«граней» русской культуры.

## Результаты исследования – 1

### ***Парадоксы бытия Пушкина: между детством и вечностью, между жизнью и смертью***

Пушкинская жизнь и его творчество были полны парадоксов, которые остаются значимыми и не до конца понятыми по сей день. О некоторых из них далее будет сказано более или менее подробно.

В мемуарном и эпистолярном наследии современников, в позднейших исследованиях встречается немало суждений, касающихся собственно детства и ранней юности Пушкина. Но нам представляется важным отметить, что и о совсем **взрослом** Пушкине любил говорить **как о ребенке**. В воспоминаниях А. П. Керн с удивительной настойчивостью фигурирует и его типично детская поза («сидел на диване, поджавши, по своему обыкновению, ноги»), и маленькая, прекрасная – детская же! – «ручка», порывистость, опрометчивость, веселая любезность, когда он, «несмотря на всю его гениальность... точно не всегда был благоразумен, а иногда даже не умен». В Пушкине современники любил видеть воплощение «игривой веселости», прямо говоря о звучании «детского смеха», и при этом едва ли не с удовлетворением отмечали: «Великий поэт не был чужд странных выходок» [Письма..., 1994, с. 39, 42, 47, 75, 78].

Как важнейшее свойство «ребенка» в психологии личности принято рассматривать бесстрашие. У С. Булгакова в связи с Пушкиным говорится о безудержности и безоглядности в проявлении страстей, об отсутствии «предохранительных клапанов», но отмечается чрезвычайно тонко и «непрерывно двоящийся характер» того дара небес, которому философ дает название «детскость»

и, более того, видит опасность этого дара, способного переходить границу «ребячливости или, как мы бы сказали теперь, инфантилизма» [Пушкин в..., 1990, с. 30]. Этот упрек М. Булгаков в своей пьесе «Последние дни» (о пушкинской гибели) вложит в уста верноподданного Нестора Кукольника: «У Пушкина было дарованье, это бесспорно. Не глубокое, поверхностное, но было дарованье. Но он его растратил, разменял его». Это мнение устоялось, став впоследствии одной из составляющих пушкинского мифа.

Тем не менее, когда говорят о Пушкине как гении моцартианского типа, то возникает понимание *негативного качества чрезмерной детскости*; такой человек «охотно и радостно, как ребенок, живет минутой; он беспечен и шаловлив» [Овсяннико-Куликовский, 1989]. «Ребенок» в Пушкине – это подчас *злое* дитя; однако, с другой стороны, «злы только дураки и дети», – цитировала Пушкина А. П. Керн, добавляя, что он так говорил не раз [Письма..., 1994.].

Мы не случайно начали разговор о Пушкине с ипостаси «ребенка», ибо детскость – подчас недостаточно контролируемое, но и раскрепощающее творческую личность свойство. Диалектика позитивного (раскрепощенного) и негативного (безответственного) интересовала исследователей, размышляющих о Пушкине. «Как писатель, – мудро отмечал С. Булгаков, – Пушкин абсолютно ответствен... Если самого Пушкина мудрость его светлого ума не всегда могла сохранить от губительных страстей, то для других он являлся советником, ценителем, руководителем» [Пушкин в..., 1990, с. 277].

Детскость – спасение и ограждение от напастей, ибо «весь» Пушкин – это миф о несчастьях, которые его преследовали: равнодушие матери, раздражение отца, подшучивание соучеников, злословие света... «Опасности, бедствия, несчастья – не надламывают творчество русского писателя, – писал, тем не менее, Л. Шестов, – а укрепляют его» [Пушкин в..., 1990, с. 205–206]. И эта позиция может оказаться весьма продуктивной для рассмотрения финала жизни Пушкина.

Рядом с детскостью обращаем внимание на мотив житейского и творческого **одинокства**.

Пушкинское одиночество – одна из граней мифа его жизни и гибели.

С. Булгаков жребием Пушкина полагал «одиночество гения, неизбежный удел подлинного величия» [Пушкин в..., 1990, с. 272]. Бесконечно часто цитируют одну и ту же строчку – пушкинский призыв: «Ты – царь, живи один!» Ее варьи-

руют и В. Розанов («гениальные люди остаются непонятыми для самых близких своих» [Пушкин в..., 1990, с.168]), и В. Соловьев («одиночество гения само собой разумеется»). Но в то же время В. Соловьев не лишен осуждающих мотивов в связи с пушкинским одиночеством. «Разве, – возмущается он, – оно есть причина для презрения и отчуждения?» В своей критике Пушкина он идет еще дальше, подчеркивая колебания Пушкина «между высокомерным пренебрежением к окружающему его обществу и мелочным раздражением против него» [Пушкин в..., 1990, с. 28–29].

Пограничность эмоционального состояния, порождаемая нахождением жизненной «бездны на краю», соотносится у Пушкина с чумой; в свою очередь, образ болезни – чумы – это у Пушкина образ опасности, дающей упоение в «бою». Чума в традиции от Пушкина до экзистенциалистов и их современников – метафора внутреннего «пожара», который сам Пушкин и не пытался «гасить». Пожар – беда – вина; все это – пограничные коды, присутствующие у Пушкина и подчас меняющиеся местами и функциями. Но вина имеет разные источники.

В восприятии публикой, критикой, современниками и последующими поколениями идея **чужой вины** удобна как источник мифа. Недаром С. Булгаков винил если не «ничтожного» Дантеса или «коварного» Геккерна, то пушкинский «путь жизни, на который поставлен он был после женьшеньбы» [Пушкин в..., 1990, с. 284].

По-видимому, впервые, если не считать некоторых прижизненных замечаний, эту мысль в 1859 году сформулировал А. Григорьев, заявивший, что Пушкин «умер к стати, иначе не стал бы ровень с современным движением и пережил бы самого себя» [Григорьев, 1990, с. 66]. Правда мысль эта принадлежала не ему, он возражал А. Милюкову, который утверждал буквально: смерть избавила Пушкина от «печальной необходимости» пережить время своей славы [Григорьев, 1990, с. 446].

К иным мнениям добавим мнение Д. Мережковского: «Смерть Пушкина – не простая случайность» [Пушкин в..., 1990]. Через сто лет после пушкинской дуэли С. Булгаков уверенно утверждал: «Пушкин сам поставил к барьеру не только другого человека, но и самого себя вместе со своей Музой» [Пушкин в..., 1990, с. 272]. В. Соловьев же считал, что Пушкин «убит не пулю Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна», и видел в этой дуэли черту, границу жизни Пушкина без шансов ее продолжения:

«Никаких новых художественных созданий Пушкин нам не мог дать и никакими сокровищами не мог больше обогатить нашу словесность» [Пушкин в..., 1990, с. 36–37].

Мы в разные годы писали о некоторых аспектах открытия Пушкина наукой и культурой последних полутора столетий: о парадоксах личностных характеристик, о присутствии эстетики и философии абсурда в пушкинском мире, о культурно-историческом дискурсе созданного до Пушкина и обжитого Пушкиным в бытовом и художественном дискурсах городе [Злотникова, 2022, с. 39–44] и ряд других материалов. В преддверии очередной юбилейной даты актуализируем названные аспекты в данной статье.

### Результаты исследования – 2

#### *Абсурд – особая нравственно-психологическая сфера бытия Пушкина в культуре последних двух столетий*

Продолжая характеристику пушкинских парадоксов, вслед за проблематикой «детства» и одиночества остановимся на бытийной странности пушкинского восприятия абсурда.

Никто не подвергал сомнению мысль о том, что Пушкин – «наше всё», ибо «в нем одном как в нашем единственном цельном гении заключается правильная художественно-нравственная мера» [Григорьев 1990, с. 58].

Фигура Пушкина, как и фигура любой другой крупной творческой личности, уже при жизни – чем далее, тем все более – мифологизировалась. Пожалуй, первым, кто обратил на это внимание, подчеркнул и попытался опровергнуть наиболее мощные «мифы Пушкина», был В. Соловьев. Именно он активно настаивал на том, что Пушкин не был политически радикально настроенным человеком и отклонял от себя «всякую преобразовательную задачу, которая, действительно, вовсе не шла бы к нему». Наконец, он считал, что Пушкина нельзя рассматривать как человека несчастной судьбы, каковая выделяет его из художественной среды: «Если несколько лет невольного, но привольного житья в Кишиневе, Одессе и собственном Михайловском есть гонение и бедствие, то как мы назовем бессрочное изгнание Данте из родины, тюрьму Камюэнса, объявленное сумасшествие Тасса, нищету Шиллера, остракизм Байрона, каторгу Достоевского...» [Пушкин в..., 1990, с. 31–32].

Если в парадоксальном, в частности, постмодернистском духе продолжить мысль о том, что Пушкин – «наше все», то нетрудно будет согла-

ситься: *Пушкин, ко всему прочему, еще и наш (русский) абсурд.*

Нам приходилось обращать внимание на то, что у *русского абсурда* есть совершенно особое свойство: стремление не столько приобщиться к культурной традиции, сколько адаптировать ее к себе. Или, как мы бы сказали, опираясь на один из главных признаков русского абсурда, – *заполнить пустоту* [Злотникова, 2003, с. 193–196]. Смысл пустоты применительно к абсурду близок тем размышлениям, какие предложил по его поводу А. Генис, согласившийся с А. Синявским в том, что «пустота – содержимое Пушкина», то есть, необъятный объем явлений и открытий [Генис, 1999, с. 135–136].

Заполнение «пустоты», образующейся на границе классической традиции и ее восприятия в последующие эпохи, своеобразно продемонстрировал в своем исследовании И. Кондаков [Кондаков, 2011]. В свою очередь одни из первых в XX веке продемонстрировали *готовность заполнить оставленную жизнью и смертью такой личности, как Пушкин, нишу («пустоту»)* русские писатели первых десятилетий нашего века [Тайна Пушкина, 1999].

В связи с проблемой абсурда обратим внимание на то, что *для людей, удалившихся из России, – эмигрантов – Пушкин* был несомненной и прекрасной частью России, поэтому они «нагрузили» личность ушедшего гения собственными комплексами и настроениями, выстроив совершенно особый, поистине абсурдный логический ряд. В нем перепутались эпохи, страны, поступки и оценки; авторитетным для признания русского гения становится живущий в Италии японец, инженер, «большой любитель, даже знаток русской литературы и восторженный обожатель Пушкина» (А. Амфитеатров).

В эмигрантских представлениях о Пушкине рядом с мыслью о невоспроизводимости совершенства, присущего гению, до абсурда доведены попытки «докончить» не только тексты, но жизнь самого гения.

Здесь проявился в первую очередь своего рода *«скрытый» абсурд* – попытка завершить, так или иначе, пушкинскую жизнь. Наряду с проблемой абсурда в высшей степени характерным для интерпретации жизни Пушкина мы считаем такой значимый мотив, как особое отношение не только его к женщинам, но и женщин к нему. Это касается и современниц, и авторов первой половины XX века (как эмигрантов, о которых упомянем особо, так и других).

Полагаем, что словосочетание «мой Пушкин», произнесенное М. Цветаевой, на самом деле характерно для восприятия Пушкина очень многими творцами, в том числе женщинами. «Мой Пушкин» – ситуация интеллектуального и эмоционального «присвоения» *Пушкина-экстраверта*, *Пушкина-сангвиника*, легко входящего в контакт, открытого в общении. У М. Цветаевой в «Разговоре с гением» (1928), где не упоминается имя Пушкина, она приказывает не желающему петь, как снегирь, под гробовой доской: «ЭТО воспой», требуя запредельного усилия, немислимого для обычного человека. В более ранней «Психее» (1920) Цветаева дает воздушное ощущение легкого и горячего флирта, способного поцелуем прожечь перчатку. В совсем еще детской «Встрече с Пушкиным» (1913) собственное имя «Марина» она выстраивает в созвучии с пушкинской Мариулой, словно предвосхищая гимн имени, созданный П. Флоренским: «Мариула – это имя – служит у Пушкина особым разрезом мира, особым углом зрения на мир, и оно не только едино в себе, но и все собою пронизывает и определяет» [Флоренский, 1990, с. 355]. Наконец, в цикле «Дон Жуан» (1917) Цветаева решительно и полноправно завладевает тем, кого «в дохе медвежьей» было бы трудно узнать, «если бы не губы».

Проблема «Пушкин и женщины» логично может рассматриваться с позиций, обозначенных персонажем самого же Пушкина, Лаурой из «Каменного гостя»: «Мой верный друг, мой ветреный любовник». Верный друг, преданный и внимательный, глубоко почтительный к таким дамам, как Е. М. Хитрово или В. Ф. Вяземская, – это все зафиксировано в их текстах. «Как я люблю, чтобы вас любили», – писала Хитрово [Письма..., с. 100]. Современницам, несомненно, нравилось то, что, как казалось, они в нем обнаруживали или даже культивировали: «В качестве поэта, – писала М. Н. Волконская, – он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал» [Волконская, 1960, с. 48–49]. К тем, кто чуть постарше, как отмечал Л. Гроссман, Пушкин относился, как к П. А. Осиповой, «с чувством серьезной и почтительной привязанности, он никогда не допускал по ее адресу тех насмешливых отзывов, которые были для него характерны в отношении многих других женщин» [Письма..., с. 59].

О том, чего женщины хотят от Пушкина, свидетельствует, в частности, интереснейшее издание «Письма женщин к Пушкину», где фигурируют и цыганка Таня, и дворовая девушка, и широко из-

вестные корреспонденты-аристократки. Правда, там нет никаких документов Н. Н. Гончаровой-Пушкиной-Ланской. Женщины-современницы проявились в своего рода идеальном выражении отношения к Пушкину, особенно же – в заботе, внимании и благодарности за свою причастность к его существованию.

В. Соловьев был прав, говоря именно в связи с отношениями между Пушкиным и женщинами, о таком явлении, как «непримиренная двойственность между идеализмом творчества и крайним реализмом житейских взглядов» [Пушкин в..., 1990, с. 24]. Здесь, в контексте женско-мужской дихотомии, рождается проблематика абсурда, упоминая выше.

Словно бы от имени ироничных и прозорливых дам-современниц (несмотря на разницу в поколениях) З. Шаховская в упомянутом издании произведений «пушкинистов»-эмигрантов предприняла поистине абсурдную, с точки зрения обыденной логики, попытку: пофантазировала, что было бы, если бы Пушкин прожил полноценную по длительности жизнь и готовился бы отпраздновать семидесятилетие. Мы об «абсурдистской» пушкиниане писали более подробно ранее [Злотникова, 2003]. У Шаховской фигурирует «сморщенное, несколько обезьянье личико», глаза же его, несмотря на «склеротичную желтизну белков», оставались бы «голубыми, живыми и быстрыми». Фантазируя относительно продолжения жизни Пушкина, Шаховская упоминает «старую палку с набалдашником» и сожаление о бедном Дантесе, который после их дуэли остался «без носа и без глаза, изуродованный навсегда». Абсурдным выглядит то, что Пушкин в эмигрантской версии желчно осуждал бы молодчество сродни озлоблению – и свое, и Лермонтова, которого «на месте Мартынова сам бы ... пристрелил, и не хотел бы, да пришлось бы».

Прошлое, по версии Шаховской, состарившийся Пушкин считал бы глупым временем, глупым полагал бы возведение «напраслины» на Николая I, желавшего «много раз ... меня спасти от меня самого», и без симпатии упоминает «холодную бестию» Пестеля и «честного, но мямлю» Трубецкого.

Наследование у Пушкина было бы неприятным, по сути абсурдным. Не нравились Пушкину, по эмигрантской версии, дети, законные и незаконные, «вялые, тихие... умом, пожалуй, в мать» (традиционная еще для современниц Пушкина дамская «шпилька» в адрес «прелестной супруги» или «прелестной жены», как ее называла

А. О. Осипова [Письма..., с. 71, 73]). Раздаваемые писателями-эмигрантами позднейшим писателям (Тургеневу, Некрасову, Чернышевскому, Достоевскому) оценки превратились в подлинный абсурд школярского обсуждения и ранжирования классики, причем абсурд, явно не осознанный автором (З. Шаховская «Старость Пушкина»).

В рамках своего рода «скрытого» абсурда была предпринята и попытка мистического, с ироническим оттенком, представления о продолжении жизни Пушкина. Действие рассказа *Саши Черного* «Пушкин в Париже» происходит за разумными пределами человеческой жизни, через 127 лет после рождения Пушкина. Но абсурдна у Черного не сама материализация духа, а отношения, в которые с этим духом вступают люди, начиная с опознавшего его по разным глазам пушкиниста. Парижские одесситы открывают курсы его имени – по «разведению синих баклажанов и уходу за дамской гигиеной лица». Директор Акционерного общества «Руссофильм» предлагает ему сделать комический сценарий «Капитанской дочки. Естественно, что в этой эмигрантской суеде Пушкину не нравится, и он, поморщившись от обступающего его абсурда («Ах, какой нелепый день!»), в гоголевско-подколесинском духе распахивает окно, оставляя в гостиничном номере ... *пустоту*: «в ведре грязная куча набухших конвертов, на столике тускло блестит старинная золотая монета».

В классической культурной традиции, включающей такие эпизоды существования русского «маленького человека», как жизнь и смерть Акакия Акакиевича и Поприщина у Гоголя, Соленого и Червякова у Чехова, М. Осоргин сочиняет рассказ «Человек, похожий на Пушкина». Невероятно (по сути – абсурдно) именно то, что этот человек был похож на Пушкина ... даже в старости, когда после длительного исчезновения, революции и разрухи он вновь появился у... памятника на Тверском бульваре.

Осоргину, как и всем прочим авторам написанных в эмиграции фантазий, не дает покоя внешний облик этого двойника – «смуглое лицо, бакены, кудрявая голова» (отметим, что писатель допускает странную проговорку, называя *бакенбарды* пренебрежительным словом из «водного» лексикона *бакены*). Маленький бездетный чиновник «по акцизному ведомству», Телятин Александр Терентьевич, не в пушкинской уже, а в гоголевской традиции обладал преотличным почерком и целыми днями «заполнял пустые места на цветных бланках». Как

видим, мотив пустоты как воплощения абсурда появляется и здесь.

Модернистская фантазия Г. Иванова «Чекист-пушкинист» обладала острым парадоксальным дискурсом: здесь было деформировано само понятие «пушкинист». Это был не ученый, как надо было бы понимать по традиции, а якобы потомок, разумеется, отмеченный необходимым внешним сходством. Поначалу возникает мотив «печального сходства», и кажется, что развернется еще одна версия случайного внешнего подобия, как у М. Осоргина. Здесь был товарищ Глушков – «небольшого роста, курчавый, смуглый», имеющий «живые карие глаза, очень красный рот». Он объявлял себя пушкинским внуком. И это не удивительно: если по старым именам могли бегать толстогубые дети, о которых писала З. Шаховская, то почему не могла быть «бабушка-крестьянка», встречавшаяся когда-то с поэтом в овраге?

Пародийному перестроению в «Маленьком фельетоне» *Дона Аминадо* подвергается сама память о Пушкине в тексте вступления к «Руслану и Людмиле». Фельетонист так же лихо расправляется со стихотворной тканью, как до этого его литературные собратья – с собственной персоной автора. Поэтический текст предстает не просто объектом безгранично простирающейся интерпретации, но поистине «пустотой» вселенского масштаба. В угоду известной тенденции «вульгарного социологизма», «лукоморье» превращается в «оплот воинствующего империализма, или, иначе говоря, Балтийскую морскую базу». Далее следует обличение «развратного» и «кадетского» дуба и замещение его «молодым бедняцким» ясенем, который заодно меняет зеленый цвет на красный. По этой же абсурдной логике «и днем, и ночью» ходить вокруг дуба нельзя – в эмигрантском тексте провозглашается «восьмичасовой рабочий день, независимо от качества продукции!»

*Скрытый абсурд* «встраивания» Пушкина в непрожитое им время и *явный абсурд* внедрения собственных социально-нравственных позиций под знаменем борьбы с опошлением России производят в текстах эмигрантов одинаково странное впечатление. Авторы *оказались за границей*, если угодно, *за гранью русской жизни*, поэтому стали свою «пустоту» заполнять фантазиями о Пушкине. По всей видимости, это было неосознанной реализацией известного мотива «наше всё».

### Результаты исследования – 3

#### *Пушкинское начало в российской культурно-исторической среде: град Петра и Петербург Пушкина*

Люди, в целом семейное и дружеское, мужское и женское окружение, – первая и важнейшая среда бытия гения. Рядом с этой средой необходимо упомянуть среду в широком смысле – Россию и главный город пушкинской жизни, каким был Петербург.

Компаративность в понимании Петра (императора, Романова) и Александра (поэта, Пушкина) – это путь к установлению знаковости и значимости личности, воздействующей как на сферу своей непосредственной деятельности, так и на жизнь страны, где им, императору и поэту, довелось родиться, в целом.

Мы считаем важным обратить внимание на то, насколько петровская Россия была источником влияния и точкой духовного, художественно-творческого притяжения, заложенным в конкретных акциях и решениях для пушкинской России. А также обратить внимание на то, насколько пушкинская Россия была прямой наследницей и, в то же время, альтернативой по отношению к петровской России.

Важно и принципиально значимо, что Россия Петра и Россия Пушкина – это одна и та же Россия. Как один и тот же, петровский и пушкинский город Санкт-Петербург: первые каменные дома, первые дворцы и первые набережные, неприветливая, кажущаяся подчас неподвижной Нева, бегущие под порывами ветра люди. Город-гравюра, люди, призванные доказывать свое право и свою возможность существовать вне мягкой и разнообразной природной реальности.

Таким образом, Петр-император и Пушкин-писатель – это особый дискурс личностей, повлиявших на судьбу России, при этом – одна ипостась рассматриваемой проблемы. Философско-антропологические представления о человеке и среде формирования его культурной памяти, о его творческой, политической, обыденной жизни, психологических аспектах бытия в городской среде, о причастности к истории, о знаковом характере среды, в которой присутствует человек (в том числе это касается и интересующего нас Петербурга) отражают, в широком научном горизонте, работы классиков прошлого и современных исследователей [Бурлина, 2016], [Вебер, 1990], [Глазычев, 2022], [Линч, 1982], [Устюгова, 2018], [Штейнбах, 2004], являясь принципиально значи-

мым основанием исследования города в пушкинской традиции и в пушкинском понимании.

Один из алгоритмов, который представляется важным для «городского» аспекта сопоставления фигур Пушкина и Петра I: культурно-антропологическая версия. Она выразительна в художественном плане и существенна в культурно-историческом.

Другой алгоритм, который не менее важен для понимания проблематики интеграции культурных эпох и личных интенций: социально-политическая, социокультурная антитеза. Пушкин и Петр I и в историко-культурной традиции, и в обыденном сознании жителей России представлены антитезой: у императора – власть как насилие, построение логики и системы, ограничение; у поэта – власть как тяжкая обязанность («тяжела... шапка Мономаха») и как объект понимания-критики-«избегания».

Третий алгоритм связан с обозначением петровского и пушкинского начал русской культуры применительно к личностным характеристикам двух персон, создавших и впитавших интенции Города.

Отметим бинарность представлений ученых о Петербурге как совершенно особом культурном феномене. Так, по мысли Ю. Лотмана, «борьба между Петербургом – художественным текстом и Петербургом – метаязыком наполняет всю семиотическую историю города [Лотман, 2001].

По версии М. Кагана, конкретна и отчетлива связь пушкинского начала с петровским в бытии Города [Каган, 1996].

Образная и социокультурная структура, которую видим благодаря текстам и бытию Пушкина, – это город, скорее задуманный, чем построенный (при этом духовно, интеллектуально, эстетически осуществленной), но частично все же созданный императором Петром, и город, унаследованный от императоров и поэтов Пушкиным. Это, прежде всего образ в версиях Ю. Лотмана (семиотический принцип понимания, знак и код города) и М. Кагана (культурно-антропологическая среда, живая, подвижная, странная и естественная). Этот образ в наиболее ранней применительно к XX веку версии Ю. Тынянова [Тынянов, 1968] и в прочих названных дает возможность не только сопоставить, но и принять в качестве особого мира подвижное и неподвижное, природное и рукотворное.

В отечественной научной традиции советского, а затем, по умолчанию, постсоветского времени видим **пушкинское начало** как свободу (в ее эк-

зистенциальном смысле), «покой и волю» (воплощение индивидуального и неприкосновенного бытия личности в широком смысле и творца в более конкретном). Пушкинское начало в социокультурном смысле – антиимперское. Если формально принято считать Пушкина своего рода источником советской культуры как культуры расцветающего в постреволюционном пространстве творчества, то в действительности Пушкин в определенной мере «предостерегает» в отношении имперски детерминированного, системно организованного и антропологически выхолощенного представления о его бытии.

Следовательно, пушкинские открытия еще впереди...

### Библиографический список

- Бурлина Е. Я. Хронотопия города / Е. Я. Бурлина, Л. Иливицкая, Ю. Кузовенкова, Я. Голубинов, Н. Барбошина, Е. Шиллинг. Самара : ООО «Книжное издательство», 2016. 240 с.
- Вебер М. Город // Вебер М. Избранные произведения. Москва : Прогресс, 1990. С. 309–446.
- Волконская М. Записки. Чита : Читинское книжное издательство, 1960. 160 с.
- Генис А. Иван Петрович умер. Статьи и исследования. Москва : Новое литературное обозрение, 1999. 336 с.
- Глазычев В. Л. Город на все времена. URL: [http://www.glazychev.ru/habitations&cities/1998\\_gorod\\_na\\_vse\\_vremena.htm](http://www.glazychev.ru/habitations&cities/1998_gorod_na_vse_vremena.htm) (дата обращения: 05.02.2024).
- Григорьев А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // А. Григорьев. Сочинения. В 2-х т. : т. 2. Москва : Издательство «Художественная литература», 1990.
- Злотникова Т. С. Абсурд как призма классики // Фундаментальные исследования в области гуманитарных наук: конкурс грантов 2000 г.: сборник рефератов избранных работ / науч. ред. Б. В. Емельянов. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2003. С. 193–196.
- Злотникова Т. С. Культурные смыслы петровской и пушкинской России: досоветский и советский дискурсы // Вестник Санкт-Петербургского института культуры. 2022. № 3. С. 39–44.
- Каган М. С. Град Петров в истории русской культуры. Санкт-Петербург : АО «Славия», 1996. 407 с.
- Кондаков И. В. Вместо Пушкина. Этюды о русском постмодернизме. Москва : Издательство МБА, 2011. 383 с.
- Линч К. Образ города. Москва : Стройиздат, 1982. 328 с.
- Лотман Ю. М. Семиосфера. Санкт-Петербург : «Искусство-СПб», 2001. 704 с.
- Овсяннико-Куликовский Д. Из цикла «А. С. Пушкин. Гоголь» // Овсяннико-Куликовский Д. Н. Литературно-критические работы. В 2-х тт. : т. 1. Москва : Художественная литература, 1989.
- Письма женщин к Пушкину / редакция Л. Гроссмана. Подольск : Подольская типография, 1994. 248 с.
- Пушкин в русской философской критике. Москва : «Книга», 1990. 527 с.
- Тайна Пушкина. Из прозы и публицистики первой эмиграции. Москва : Эллис Лак, 1999. 541 с.
- Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. Москва : Издательство «Наука», 1968. 424 с.
- Устюгова Е. Н. Антропологический поворот в современной урбанистике // TERRA AESTHETICAE. 2018. № 1. С. 199–215.
- Флоренский П. Имена // Опыты. Литературно-философский сборник. Москва : Советский писатель, 1990. 480 с.
- Штейнбах Х. Э., Еленский В. И. Психология жизненного пространства. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 301 с.

### Reference list

- Burlina E. Ja. Hronotopija goroda = The city chronotope / E. Ja. Burlina, L. Ilivickaja, Ju. Kuzovenkova, Ja. Golubinov, N. Barboshina, E. Shilling. Samara : ООО «Knizhnoe izdatel'stvo», 2016. 240 s.
- Veber M. Gorod = The city // Veber M. Izbrannye proizvedenija. Moskva : Progress, 1990. S. 309–446.
- Volkonskaja M. Zapiski = Notes. Chita : Chitinskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1960. 160 s.
- Genis A. Ivan Petrovich умер. Stat'i i rassledovani-ja = Ivan Petrovich has died. Articles and investigations. Moskva : Novoe literaturnoe obozrenie, 1999. 336 s.
- Glazychev V. L. Gorod na vse vremena = The city for all times. URL: [http://www.glazychev.ru/habitations&cities/1998\\_gorod\\_na\\_vse\\_vremena.htm](http://www.glazychev.ru/habitations&cities/1998_gorod_na_vse_vremena.htm) (data obrashhenija: 05.02.2024).
- Grigor'ev A. Vzgljad na russkiju literaturu so smerti Pushkina = A glimpse of Russian literature since Pushkin's death // A. Grigor'ev. Sochinenija. V 2-h t. : t. 2. Moskva : Izdatel'stvo «Hudozhestvennaja literatura», 1990.
- Zlotnikova T. S. Absurd kak prizma klassiki = Absurd as a prism of classics // Fundamental'nye issledovani-ja v oblasti gumanitarnyh nauk: konkurs grantov 2000 g.: sbornik referatov izbrannyh rabot / nauch. red. B. V. Emel'janov. Ekaterinburg : Izd-vo Ural'skogo un-ta, 2003. S. 193–196.
- Zlotnikova T. S. Kul'turnye smysly petrovskoj i pushkinskoj Rossii: dosovetskij i sovetskij diskursy = Cultural meanings of Peter the Great and Pushkin's Russia: pre-Soviet and Soviet discourses // Vestnik Sankt-Peterburgskogo instituta kul'tury. 2022. № 3. S. 39–44.
- Kagan M. S. Grad Petrov v istorii russkoj kul'tury = The city of Peter in the history of Russian culture. Sankt-Peterburg : AO «Slavija», 1996. 407 s.
- Kondakov I. V. Vmesto Pushkina. Jetjudy o russkom postmodernizme = Instead of Pushkin. Essays on

Russian postmodernism. Moskva : Izdatel'stvo MBA, 2011. 383 s.

11. Lynch K. *Obraz goroda = The city image*. Moskva : Strojizdat, 1982. 328 s.

12. Lotman Ju. M. *Semiosfera = Semiosphere*. Sankt-Peterburg : «Iskusstvo-SPB», 2001. 704 s.

13. Ovsjaniko-Kulikovskij D. Iz cikla «A. S. Pushkin. Gogol» = From the cycle “A. S. Pushkin. Gogol” // Ovsjaniko-Kulikovskij D. N. *Literaturno-kriticheskie raboty*. V 2-h tt. : t. 1. Moskva : Hudozhestvennaja literatura, 1989.

14. *Pis'ma zhenshhin k Pushkinu = Women's letters to Pushkin* / redakcija L. Grossmana. Podol'sk : Podol'skaja tipografija, 1994. 248 s.

15. *Pushkin v russoj filosofskoj kritike = Pushkin in Russian philosophical criticism*. Moskva : «Kniga», 1990. 527 s.

16. *Tajna Pushkina. Iz prozy i publicistiki pervoj jemigracii = Pushkin's mystery. From the prose and journalism of the first emigration wave*. Moskva : Jellis Lak, 1999. 541 s.

17. Tynjanov Ju. N. *Pushkin i ego sovremenniki = Pushkin and his contemporaries*. Moskva : Izdatel'stvo «Nauka», 1968. 424 s.

18. Ustjugova E. N. *Antropologičeskij povorot v sovremennoj urbanistike = Anthropological turn in contemporary urbanism* // TERRA AESTHETICAE. 2018. № 1. S. 199–215.

19. Florenskij P. *Imena = The names* // Opyty. Literaturno-filosofskij sbornik. Moskva : Sovetskij pisatel', 1990. 480 s.

20. Shtejnbah H. Je., Elenskij V. I. *Psihologija zhiznennogo prostranstva = Psychology of living space*. Sankt-Peterburg : Rech', 2004. 301 s.

Статья поступила в редакцию 25.04.2024; одобрена после рецензирования 05.05.2024; принята к публикации 15.05.2024.

The article was submitted on 25.04.2024; approved after reviewing 05.05.2024; accepted for publication on 15.05.2024